



новости
Мок. правда - 1992 - 20 окт. - с. 10

Свои мертвецы

Десять лет назад умер писатель **Юрий Казаков**

*Юрий Казаков в последнем интервью высказал такое пожелание молодым: не посылать свои произведения на отзыв маститым, чтобы не козырять потом — такому-то понравилось...
Что же, ему я и не посылал. Это вот как получилось.*

Первые рассказы, которые я предал огласке, вызвали бурю в литературном объединении минской русскоязычной газеты «Знамя юности». Главный там авторитет, синешекский газетчик, который печатался на «литературных страницах», надолго укрепил мое хрупкое эго: «Этот, как вы говорите, мальчик дальше всех нас пойдет». Через пару дней, однако, от сильного задним умом руководителя пришло письмо с обвинениями в мелкотемье, ложной многозначительности и подражании телеграфной прозе Запада: «Учитесь, Сергей, у мастеров советской литературы: Горького, Серафимовича, Шолохова».

Следующий текст был вызван к жизни событием на рынке, где мне завернули мерзлую клякву в невестку как занесенный туда обрывок свободного мира в виде последних, с некрологами, страниц издаваемой в Нью-Йорке эмигрантской газеты «Новое русское слово». Рассказ получился о неисповедимости русских судеб, и я его отправил в столичный журнал «Молодая гвардия», в те годы либеральный, публиковавший прозу Евтушенко и «Озу» Вознесенского. Ответ пришел от заведующего отделом прозы, который там и тогда случился Юрий Казаков: «У Вас зоркий глаз и достаточно точная рука...»

Предложив присылать новые вещи, Юрий Казаков приложил домашний адрес: он уходил из жрилы, предвизи превращение «МГ» в машиненгевер сталинизма.

Окончив школу, я поехал поступать в Москву. На улице Горького мне достался с лотка сборник «Двое в декабре» — с портре-

том автора в толстых очках с учительской оправой и огромным лбом в нимбе исчезающих волос: этому человеку, единственному, я в своей стране оказался не безразличен. Удачное было начало, но на экзаменах в МГУ меня развернули в обратном направлении и провалили.

Не знаю, как я выжил. Японский абитуриент в подобных случаях с собой кончает.

Статья Казакова про мужество писателя появилась в «ЛГ» 24 ноября 1966 года. Я увидел ее в Питере, на газетном стенде. Пока я читал, хлынул ливень, последний в году. Промокши до нитки, я понял, что без этого не жить. Слетал к бабушке на пятый этаж за бритвой и, вырезав слоистый прямоугольник, где под Казаковым испод газетной лжи был в два пальца толщиной, унес под пальто.

Родина предков, погибшая столица, Ленинград был местом ритуальных отношений к пеплом отца, погибшего до моего рождения. В рыжем бабушкином Евангелии я наткнулся на просвет в фамильном склепе. Другой же из Его учеников сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов (8,21 — 22).

Взяв это за эпиграф, я написал рассказ «Свои мертвецы». Вернувшись в провинцию к своей машинке, перепечатал его под копирку и отправил в Москву.

Письмо от Казакова пришло не скоро, оказалось щедрым. По поводу рассказа он писал о Набокове, о позднем Зайцеве. Читателю «ЛГ», мне было известно, что он про-

вел три недели этой весной во Франции, где, видимо, и открыл неведомые мне имена. Меня он сравнивал с ними не в смысле похвалы, а намекая на то, что фрагментарность и старческая изощренность скрывают отсутствие опыта, но при этом и утешая авторитетным обещанием: «Вам, к счастью, мало лет. Годом к 25 будете писать хорошо. Прозаики раньше не рождаются...»

«Никому не говори! Никому не показывай!» — мама пришла в ужас и даже пыталась отобрать письмо, которое я носил по славянской столице будущего ближнего зарубежья во внутреннем кармане бедного пиджака, ощущая хрустящую плотность надежды левой мышцей груди, под которой азартно билось сердце девятнадцатилетнего неудачника.

Дом, который в 1967 году я разыскал где-то за ВДНХ, поразил меня несоответствием писательскому статусу жильца, которому — Другу Юре — посвящали свои стихи Вознесенский и Евтушенко. Блочная хрущоба — даже тот, который остался позади меня в Заходском районе Минска, был лучше. Нагое железо урел, бетонные марши. Пресса давно уже успела осудить стихотворение Евтушенко про то, как они с Казаковым взаимно испражнялись на Севере, во время чего прозаик внезапно проявил тонкость в наблюдении за природой. Я не исключал, что меня может встретить мат-перемат, которым, согласно поэту, и выражался в жизни «автор нежно-дымчатых рассказов». Но рука уже была занесена, и я постучал. Когда дверь открылась, мне показалось, это не Казаков, а Юрий Власов.

— Зд-дравствуйте, Юрий Палыч. Ю-рье-нен...

Очки он сменил на темные, наверное, во Франции. Лысый, большой, неповоротливый, по-набоковски, сказал бы я сейчас, слоноподобный, он был, на мой тогдашний взгляд, весьма в возрасте (всего лишь накануне сорока, на четыре года младше меня сейчас). Вопреки июльскому удущью, на нем был твидовый пиджак.

— Т-так вот вы какой. А я думал, рыжий. Б-богатырь из «Калеваль»...

В отличие от моего заикание было хроническим. По одной версии, вызванное появлением собаки, по другой — ударом об трубу на крыше дома детства в момент попадания бомбы в Театр Вахтангова, этот дефект и толкнул Казакова к самовыражению в письменном виде.

— П-пытался напечатать ваши вещи. В «Смене» мне даже обещали. Но сорвалось. Год юбилейный...

Потолки казались еще ниже, чем были, и в этой шлакоблочной клетке Казаков выглядел великаном, приодевшимися, как выяснилось сразу, за границу. Он уже был во Франции, но про за границу все равно произнес с соответствующим той, маловыездной эпохе пафосом, хотя имелась в виду лишь Болгария — Золотые Пески по профсоюзной путевке Союза советских писателей. Вот вот придет такси, чтобы везти в аэропорт. Осознав свою неуместность, я потерял дар речи. «А вы сюда какими судьбами?» — «П-поступать...» — «Снова?» Я кивнул. Он сурово взглянул на часы, сел за столик с «Коллибри», заправил чистый лист и своими толстыми пальцами ловко стал выстукивать. Заграничные авиаконверты, пробитые знаками препинания письма на папиросной бумаге валялись на неожиданном пианино, которое напоминало, что в литературу Казаков пришел из джаза. Неужели он музицирует? На полированном серванте побликсивало кружево иконы, косо лежали церковные свечи, толстые и длинные, под стеклом стояли его книги, и вместе с переводами их оказалось много. Испросив разрешения у туга обтянутой спины, я сдвинул стекло и вытащил — портрет на всю суперобложку — толстенный том его рассказов, изданных по-английски в Америке. «Фразу Толстого точно я не помню, но за смысл ручаюсь», — сказал Казаков. Выдернув из машинки, он протянул мне то, что оказалось рекомендательным письмом.

Я поднялся, он тоже — под потолок. «Вы, это, не пропадите. Напишутся новые рассказы — приносите. Не напишутся — приходите все равно. Я из Парижа ящик книг привез. Набокова вам дам. Не читали? О, это... Ну?»

На улице было безвоздушно и мглито, как перед грозой. Я шел, медленно прозревая. Вдруг остановился, вынул конверт и двумя пальцами извлек письмо: «Дорогой Вася! Податель сего очень талантливый парень из Минска, хочет учиться в МГУ. Позвонил бы ты какому-нибудь своему Небыкову, а? Как сказал Лев Николаевич, если плохие заодно, то и хорошие должны друг другу помогать. Твой Юра. Пролетая над Вашей страной, позвольте выразить...»

На втором году обучения в МГУ, когда стало особенно паршиво, я написал Казакову письмо, намекая среди прочего насчет

желательности перехода в Литературный институт. Казаков за это время родил сына и купил дом в Абрамцево, продолжая, как сетовал позднее Солженицын, «необъяснимо уклоняться от большой работы и лишать нас возможности наслаждаться его прозой». Мои жалобы на то, что Бога не найти (возможно, за отсутствием Его), Казаков принял близко к сердцу и в отличие от золотой рыбки послал не на три буквы, а все к тому же «Васе».

Под воздействием чугунящего времени и анонимных звонков из «Русского клуба», укоряющих его за либерализм при стопроцентной русскости, друг Казакова, автор «оттепельных» повестей, фронтвик и член КПСС, дрейфовал вправо. Оставаясь все таким же обязательным, седым и смуглым, он начинал признаваться, что так и не сумел поселить в себе бациллу ненависти к верховному. А вот этого Набокова, которого Юра пропагандирует... Лужины там, понимаешь, эти едут на станцию в коляске... *Гениально, старичок...* Ты «Лолиту» не читал? Про растение малолетней? За эту книгу я б мерзавца расстрелял! Собственноручно! Юра эстет, он ничего не понимает. На Западе кричат, что эта его изоляция есть форма оппозиционности. А Юра просто пьет. Ты не знал? По черному. Ничего давно не пишет. Переводит Нурпесова. Смотри, что он мне подарил... Он вынимал знакомый мне заокеанский том: «Другу Васе от одного американского писателя...»

Лет семь спустя в случайном шато близ Лиль д'Адам с этажерки в упор взглянул на меня галлимаровский сборник Казакова «На полустанке». Листая ливр-де-пош, я вспомнил, как в старом здании МГУ выступал Солоухин — пиджак и ботинки у него были замшевые. Я послал вопрос, который он прочитал перед своим более чем лапидарным ответом: «Расскажите о поездке во Францию с Юрием Казаковым. Что ж тут рассказывать, об этом было в газетах...»

В «ЛГ» было о казаковской ностальгии, однако Солоухин мог бы рассказать еще о встречах с Георгием Адамовичем, Зайцевым, с молодым православным французом Габриэлем Мацневым, который посвятил советским коллегам записи в своем «Дневнике». В ресторанах, согласно Мацневу, общительность проявлял только Солоухин, тогда как Казаков угрюмо отмалчивался... почему бы? Ведь об этой поездке, первой и последней, во Францию и вообще на Запад, он вспоминал до конца своей жизни, так ему здесь было хорошо? Я ни в коем случае не хочу бросать тень сомнения на его попутчика, тем более что оба они, осознанно или нет, наводили мосты с кругами «национально мыслящей» эмиграции, тем более что позже сам Казаков посвятил Солоухину проникновенный текст. И все же без момента политической паранойи мне, антисоветчику со стажем, не обойтись. Вопрос, например, с посмертным взломом. Что за «темные люди», по туманному выражению Глеба Горышина, наложили руку на архив покойного? Последние при жизни писательские связи у Казакова были с журналом «Наш современник», здесь, в журнале национальной оппозиции, он напечатал два последних своих рассказа, был лауреатом премии года. Андропов, пришедший к власти в СССР за две недели до смерти Юрия Казакова, положил конец литературным эксцессам национализма (его же ведомством инспирируемого). Вскоре и Солоухин будет притянут к партийному ответу за объективный идеализм. Возможно, не случайно, а по казенной надобности забрели в Абрамцево те воры, что взломали опустевший дом, унесли, уничтожили рукописи?

Поразительно, что акт вандализма тронул, кажется, одного только Нагибина... То ли писателей в стране уже не оставалось? Невероятна легкость, с какой «шестидесятники» сдали небытию Юрия Казакова. Не только одного из своих — одного из наилучших, прекраснейшего пера оттепельной... как назвать, чтоб не обидно? Плеяды? Шарраги? Нет, но почему? Это Запад, это «Монд» могла сравнить его со Скоттом Фицджеральдом, тогда как свои даже в эмигрантском некрологе не упустили поставить в вину покойному аполитизм и социальную пассивность, как, например, писал один соавтор Казакова по «Тарусским страницам»?

В конце 1982-го меня в Париже разбудил звонок. Восприняв весть, я потянул за шнур, шторы раздвинулись, занавес пропелживал мозглое утро на перекрестке бульвара Араго и рю Паскаль — не выловил он меня тогда из самотека, ничего бы не было, и с ним бы я простился дома за Железным занавесом, — и вдруг, будто при виде косоного креста, как это было с одной его беглянок, рванувшей в город от корней... будто нож вваживает мне под грудь, туда, где сердце.

Сергей ЮРЬЕНЕН

Мюнхен